

Михаил Николаевич Волконский

Брат герцога

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-311.3

ББК 84-4

Михаил Николаевич Волконский

Брат герцога / Михаил Николаевич Волконский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 180 с.

ISBN 978-5-4241-1663-6

В основе произведений одного из самых известных беллетристов начала XX века князя Михаила Николаевича Волконского - "неофициальная история" XVIII столетия, сплетающаяся из множества скандальных историй, дворцовых тайн, приключений и мистики. Интриги, власть, коварство, любовь и деньги - неизменные составляющие его авантюрно-приключенческих романов.

ISBN 978-5-4241-1663-6

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Михаил Волконский
Брат герцога

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. СТРАННАЯ СВАДЬБА

К церкви Сампсония Странноприимца, что на Выборгской стороне, подъехала тяжелая, в шесть стекол, запряженная четверкою цугом карета с гербами рода Олуньевых на дверцах.

Был исключительно теплый, как нарочно выдавшийся, августовский вечер, какие редко бывают в сыром Петербурге в это время года. Косые лучи заходящего солнца, словно жалея расстаться с потухавшим теплым днем, обдавали красным светом все широкое пространство, далеко видное кругом.

Церковь стояла на окраине города, почти не заселенной, с бесконечными пустырями, среди которых только изредка попадались маленькие мазанки. Тем страннее было видеть в этой чуждой всякой роскоши местности богатую карету, остановившуюся у церкви.

Да и церковь была, по тогдашним временам, совсем особенная, окруженная надмогильными крестами, простыми, сосновыми, хоть вокруг нее и не было отведено участка под постоянное кладбище. Эти кресты стояли на могилах, подойти к которым боялись даже самые смелые.

Могилы принадлежали умершим страшною смертью на эшафоте или в застенке. Тут хоронили казненных преступников. Были тут еще свежие могилы Волинского, Еропкина и Хрущова, сложивших около двух месяцев тому назад свои головы на плахе.

Из кареты вышла, поддерживаемая двумя гайдуками, откинувшими подножку, полная видная барыня с властным, резким лицом, по чертам которого сразу становился ясен ее характер. Орлиный нос, выдающийся подбородок, густые, почти сросшиеся брови и черные, быстрые, не по годам живые глаза обличали в ней женщину своевольную, привыкшую к подчинению себе окружающих.

За ней гайдуки почти вынули и внесли на руках в церковь молодую девушку в белом подвенечном платье, с фатою на голове. Она была бледна и, казалось, не сознавала того, что происходило вокруг.

Когда они вошли в церковь, стройный хор, поместившийся на клиросе, в парадных кафтанах певчих, видимо, не принадлежавших церкви, но нанятых за большие деньги, запел встречу.

Церковь была совсем пуста. Ни гостей, ни посторонних любопытных тут не было. Гайдуки, стоявшие у растворенных дверей церкви, не пускали никого, да и никого почти не было в это время в этой глухой, забытой части Петербурга.

Невесту подвели к разостланному ковру, и от группы стоявших у стенки мужчин отделился один и стал возле нее.

Это был молодой еще человек. Его высокий лоб, прекрасные темные глаза, правильный нос и тонкие, красиво очерченные губы, слегка улыбавшиеся под усами, казалось, не могли принадлежать человеку происхождения низкого. Он держался прямо, осанисто, руки его были белы, и ноги, несмотря на стоптанные башмаки с откровенными заплатами, показывали в нем породистость. Но одет он был очень странно. Он был простоволос — без парика, что, впрочем, служило ему в пользу. Его темные густые волосы красиво вились и падали почти до

плеч, по старому, бывшему еще при Петре в моде обыкновению. Кафтан на нем тоже казался давно вышедшим из моды. Этот потертый по швам, с не везде целыми пуговицами кафтан лоснился и выцвел. Галун на камзоле почернел и протерся. Чулки были заштопаны, и на правом колене ясно виднелась заплата.

Но, несмотря на свой наряд, а может быть, именно вследствие него, он как-то подчеркнуто гордо подошел и стал на свое место, словно хотел показать всем, что нисколько не стыдится своих заплат и своего потертого кафтана. Подойдя, он оглядел невесту очень внимательно с ног до головы, как человек, который первый раз в жизни видит ее.

Она была очень хороша. Вся ее прелесть заключалась в необыкновенной миловидности и какой-то наивной моложавости чуть ли не детского, невинного личика. Она стояла с опущенными ресницами, бледная, в полубоморочном состоянии. Ее поддерживали сзади под руки.

Жених оглядел ее, отвернулся, но его глаза опять невольно скозились в ее сторону.

Священник быстро, скороговоркою начал обряд венчания.

Все казались как-то сконфуженными, боявшимися взглянуть в глаза друг другу и торопились; только привезшая невесту барыня вошла и стала с гордым сознанием правоты и необходимости того, что происходило теперь, да жених не казался смущенным, потому что, видимо, ничто в жизни не могло смутить его. Было что-то как будто наглое и дерзкое в его походке и выражении, когда он, отделившись от остальных, подошел к ковру, но при первом же взгляде его на невесту это выражение исчезло и сменилось ровною, спокойною задумчивостью. Рука его дрогнула, когда, меняясь кольцами, он коснулся ее тонких, почти прозрачных пальцев; а она как будто и не чувствовала этого прикосновения.

Священник торопился, но венчание, казалось, тянулось все-таки целую вечность. Наконец он взял венчающихся за руки и повел их к аналою. У аналая, как следует, лежал розовый шелковый плат, и они вступили на него.

Еще беспокойнее, еще торопливее заговорил священник, и еще ниже опустилась головка той, которая стояла теперь в подвенечном платье перед аналоем.

В этом движении головы единственно промелькнул проблеск сознания в ней. Во всем остальном она была безучастна. Она вовсе не ответила на вопрос. Впрочем, священник задал его так быстро, как будто и не ждал ответа. Она едва передвигала ноги, когда шла под венцом; она не коснулась губами поднесенной ей чаши и, когда кончилось венчание, послушно отдалась в руки, перенесшие ее обратно в карету. Во все время церемонии она ни разу не подняла глаз.

Барыня, приехавшая с нею, гордо и важно последовала к карете; ее подсадили те же гайдуки, усадившие туда «молодую»; подножка закинулась, хлопнула дверца, гайдуки вскочили на свои места, и карета, тронувшись, закачалась на высоких рессорах.

Затем показался на паперти «молодой». Он вышел, приостановился, поглядел вслед удалявшейся карете и, надвинув крепко на голову порыжелую шляпу, пешком отправился в город.

В этот день в метрические книги Сампсониевской церкви была занесена запись о бракосочетании князя Бориса Андреевича Чарыкова-Ордынского с девицею Наталией Дмитриевной Олуньевой.

II. КТО БЫЛА НЕВЕСТА

Только старуха Олуньева, известная всему Петербургу под именем Настасья бой-баба, могла задумать, начать и привести в исполнение то, что произошло на ее глазах в церкви Сампсония.

Настасья Петровна Олуньева, дожившая безбрачно до старых лет, была одною из влиятельных фрейлин царствующей императрицы. Императрица Анна Иоанновна любила слушать рассказы про старину и про нынешнее время, и никто, как Олуньева, не умел угодить ей рассказами. Ни у кого не было такого запаса воспоминаний, как у нее, и никто не умел с таким поистине прирожденным талантом собрать ходившие по городу сплетни и преподнести их в целом ряде историй, одна другой занимательнее. Редкий вечер проходил без того, чтобы Настасья Петровна не являлась к государыне. Она становилась перед нею, и тогда откуда что бралось у нее.

Олуньева много выдвигалась на своем веку. Прозвание бой-бабы, несмотря на то что постоянно оставалась в девах, получила она еще при покойном императоре Петре I, при котором исполняла даже какую-то должность на учрежденном им «всеобщейшем» соборе. Затем она сумела устроиться и удержаться при дворе, благополучно выплыв из всех разнообразных течений, беспрестанно сменявшихся и уносивших многих с собою. Она была в почете при дворе Екатерины I, ладила с Меншиковым, потом была в дружбе с Долгоруковыми и осталась цела после их падения. Анне Иоанновне она сумела услужить, когда та, еще незначительною герцогиней Курляндской, приезжала в Петербург хлопотать по разным делам своим.

И теперь Олуньева являлась в придворном мире лицом, с которым приходилось считаться. Языка ее боялись и перед нею заискивали. Сам всемогущий Бирон находил нужным ласково относиться к бой-бабе Настасье.

Главная сила Олуньевой заключалась в ее известной всем смелости. Она, по-видимому, не боялась никого, и потому другие боялись ее. Она всегда говорила резким голосом, каким обыкновенно высказывают резкую правду, и все верили, что она не страшась каждому в глаза правду режет.

Положим, смелость ее была рассчитанная — она всегда отлично знала, когда и где показать ее и насколько именно, и когда смолчать, и когда заговорить — но этого не замечали, удивлялись Олуньевой и боялись ее.

Настасья Петровна, сумевшая устроить свою жизнь и достигнуть такого положения, какого не достигла ни одна из ее замужних сверстниц, весьма естественно гордилась собою и своим положением, вследствие чего невольно относилась с легким оттенком презрения к мужчинам, сумев без помощи мужа добиться и почета, и значения.

В душе она не любила мужчин. В свою долгую жизнь она видела столько браков, и столько из них оказывались несчастными, что она в конце концов стала уверять, что ежедневно благодарит Бога за то, что Он избавил ее от «султанского тиранства». И всегда в ее глазах в несчастном браке был виноват муж.

Олуньева жила в Петербурге большим, богатым домом, обладая хорошими средствами, доставшимися ей по наследству. Эти средства увеличились еще со смертью ее брата-вдовца, оставшего после себя маленькую дочь Наталью.

Олуньева, как опекушка, взяла племянницу к себе и вступила почти в бесконтрольное управление ее состоянием.

Когда Наташа стала подрастать, Настасья Петровна увидела в ней мало-по-

малу развитие тех же вкусов и склонностей, какие были в ней самой. Наташа рано начала понимать и рано выказала свою характерность. Игры, какие она придумывала себе, настойчивость, с которою добивалась того, чего хотела, все свидетельствовало в ней, что из нее выйдет прок, как говорила Олуньева.

— Ой, растет девка — вся в меня будет, — повторяла она, с искренним удовольствием глядя на племянницу.

Воспитывала она ее довольно своеобразно. Ласкать — не ласкала никогда, но почти никогда и не наказывала. Она смотрела строго за тем, чтобы Наташа была одета, обута и сыта, а об остальном не заботилась.

С семи лет она приставила к девочке двух гувернанток: одну — немку, другую — француженку, которые сейчас же поссорились между собою и пришли жаловаться друг на друга Настасье Петровне. Та прикрикнула на них и приказала, чтобы этого вперед не повторялось.

Гувернантки, видя свой неуспех, действительно более не являлись к ней, но это не мешало им чувствовать глубокий, зародившийся с первого раза антагонизм между собою.

Следствием этого антагонизма было то, что за девочкой почти не смотрели. Наташа делала что хотела. Живая, бойкая от природы, она приводила в отчаяние окружающих, чем, однако, доставляла несказанное удовольствие тетке, никогда не сердившейся за ее проделки.

Впрочем, жизнь Настасьи Петровны была слишком полна интересами общества, где она вращалась, чтобы она могла уделить много времени племяннице. При этом она вполне искренне верила, что делает для Наташи все от нее зависящее и что та растет при самых лучших условиях, какие лишь возможны для будущей самостоятельной женщины, какою она, по собственному подобию, воображала себе впоследствии Наташу.

Она с одобрением видела, как у маленькой девочки при игре в куклы всегда страдательными лицами являлись мальчики, как для этой девочки все мужское являлось чем-то низким, служебным и подчиненным и как впоследствии Наташа, когда подросла, стала охотно предаваться занятиям, совершенно не свойственным, как казалось, девушке. Летом в деревне она ездила верхом, стреляла из лука, ловила рыбу, только пешком не любила ходить.

Все эти занятия очень любила императрица, и Настасье Петровне приятно было рассказывать ей про свою племянницу. Она видела одобрение государыни.

Однако, несмотря на такие наклонности, Наташа оставалась по внешнему виду милостивно-женственной и ездила верхом и стреляла с такою чисто женскою грацией, словно так только, нарочно, шутя и шала, занималась этим.

В 1739 году Наташе минуло семнадцать лет.

Настасья Петровна и не заметила, как наступило это время, и очень удивилась, когда однажды, всмотревшись за обедом посерьезнее в племянницу, открыла в ней совсем взрослую девушку.

— Мать моя! — сказала она с удивлением. — Да ведь ты совсем дюжей девочкой стала. Когда же это ты успела вырасти?

С этого дня Настасья Петровна, видимо, все еще не пришедшая в себя от удивления, стала говорить каждому встречному:

— Нет, представьте, моя-то Наталья, племянница, ведь выросла!.. Так-таки совсем и выросла.

Наташе заказали длинное платье и вывезли на первый бал, где она сразу имела успех; и с этих пор молоденькая, хорошенькая Наташа Олуньева сделалась одним из заметных украшений петербургского общества.

III. ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК

Зима 1740 года весело проходила в Петербурге.

Несчастный Волинский строил свой ледяной дом, где венчали Голицына с Бужениновой, затем потянулся целый ряд празднеств и «мирных торжеств» по случаю подписанного 7 сентября мира с турками в Белграде.

Эти празднества начались 27 января торжественным въездом в столицу гвардейских войск, участвовавших в кампании.

День был холодный, морозный. Войска входили с музыкой и развернутыми знаменами. У офицеров шляпы были украшены лавровыми листьями, а у солдат — ельником, «чтобы зелень была», как говорилось в расписании порядка шествия.

Впереди гвардейских батальонов, окруженный адъютантами, скороходами, пажами и егерями, ехал начальник отряда генерал-лейтенант, гвардии подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон, брат временщика Эрнста-Иоганна. Это было его торжество.

Войска прошли по Невскому к Зимнему дворцу, куда были приглашены офицеры, которых встретила сама государыня.

— Удовольствие имею, — сказала она, — благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне в надлежащих диспозициях, господа штаб— и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем я через фельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Бирона извещена, и будете за свои службы не оставлены.

Затем Анна Иоанновна каждого офицера изволила жаловать «из рук своих венгерским вином по бокалу».

14 февраля счастливый триумфатор Густав Бирон командовал парадом двадцатитысячного войска и был произведен в этот день в генерал-аншефы и пожалован золотую саблюю.

Для народа были выставлены жареные быки на площади и били фонтаны красного и белого вина. Государыня кидала в толпу жетоны. Двор веселился на празднествах, маскарадах, балах и обедах.

И везде первым лицом, героем торжества был вернувшийся из похода брат всесильного герцога Бирона.

Густаву было под сорок, но благодаря военной выправке и природной молодцеватости он казался моложе своих лет, и его бравый вид производил приятное впечатление. Последнее усиливалось благодаря ореолу почестей и славы, окружавшему теперь Густава.

Он был вдовец. Жена его, дочь в свое время знаменитого Меншикова, умерла четыре года тому назад. Он жил с нею недолго, но счастливо и первое время глубоко, как казалось, чувствовал свою потерю. Однако мало-помалу горе смягчилось, растаяло в заботах по службе и затмилось улыбками счастья, которыми награждала судьба близкого родственника царского любимца.

Время шло для Густава беззаботно и весело. Жил он в великолепном доме на Миллионной, почти во дворце — по крайней мере, мало было тогда в Петербур-

ге таких домов, высоких, каменных, с колоннами из черного мрамора. Отказывать себе ему ни в чем не приходилось, и ему ни в чем не отказывали — ни в почестях, ни во внимании. Захотел он отличиться на любимом своем ратном поприще — его послали в Турцию, и вот он вернулся оттуда, покрытый военного славой, и возвращение его чествовали, как только могли.

Кроме официальных торжеств: въезда, парада, представлений и наград, на каждом балу, на каждом вечере, так или иначе, в угоду герцогу Бирону устраивались оvation в честь его брата.

Одно из них особенно осталось памятно Густаву.

Это было на балу у Нарышкина. Густаву вовсе не хотелось ехать на этот бал — празднества утомили его; но на этот раз нужно было подчиниться. Брат сказал ему, что у Нарышкина будет государыня, и этого, разумеется, было довольно. Требовалось снова надевать узкий мундир, прицеплять золотую саблю, садиться в карету и ехать и снова быть центром устремленных отовсюду глаз пестрой, разодетой толпы.

Но все это казалось утомительным лишь вначале, а когда наступило время и Густав, подчиняясь необходимости, надел свой расшитый измайловский мундир, прицепил саблю и со шляпой под мышкой, красиво выгнув вперед широкую грудь, вошел в освещенный зал, его невольно охватило блаженное, самодовольное и себялюбивое чувство сознания собственной цены и значения. Он словно молодел в эти минуты; по крайней мере, для него было что-то молодое, упоительно-радостное в сознании, что вот сотни глаз ищут его взгляда, сотни людей ждут с замиранием сердца, когда он обратится к ним, и если он действительно обратится, то они будут бесконечно счастливы этим.

Бесконечно счастлива будет и та, к которой он подойдет, чтобы пригласить ее танцевать, потому что и среди этих робких, молодых, хорошеньких личиков нет ни одного, которое не было бы обращено в его сторону и на котором не выказывалось бы трепетного желания обратить на себя внимание.

Густава вновь на первых двух-трех балах это тешило, но барышни оказывались очень робки и глупы и слишком уж как-то заискивающе относились к нему. То, что было приятно в мужчинах, невольно отталкивало в женщинах, и ни одна из них не нравилась Густаву.

И тут, у Нарышкина, он после поклона хозяину обвел равнодушным, стеклянным, начальническим взглядом, таким, как оглядывал солдат во фронте, этих распудренных и разодетых красавиц с тем, чтобы, по обыкновению, отвернуться, не встретив симпатичного лица.

И вдруг словно какой-то чужой, внутренний голос сказал ему, что он ошибся. На этот раз не все смотрели на него так, как привык он. Была одна, которая казалась ничуть не смущенною, даже равнодушною. И Густав сразу нашел ее. Словно во всем зале не было никого выше ее — такою непринужденностью, почти гордостью веяло от ее маленькой, стройной, хорошенькой фигурки. Она держалась твердо и прямо и взглянула в сторону Бирона, как будто не он, а она была тут героем, пред которым должно все преклониться. Она глянула и отвела глаза, точно ее вовсе не интересовало, смотрят на нее или нет, и, спокойно играя своим обшитым кружевами и усыпанным драгоценными камнями веером, отошла в сторону.

— Кто это такая? Я ее вижу в первый раз, — спросил Густав у своего адъ-

ютанта.

Тот поспешил ответить ему, что это — Олуньева, племянница известной Настасьи Петровны.

— А, знаю — Настасья бой-баба, — ответил Бирон и пошел было искать старую фрейлину, чтобы она представила его своей племяннице.

Но в это время все в зале забегало, засуетилось, зашумело и вдруг стихло. Грянула музыка. Государыня в сопровождении хозяина, герцога Курляндского и царской фамилии показалась в дверях. Густаву необходимо было выйти вперед, и он вышел.

Он был почти уверен заранее, что бал начнется каким-нибудь торжеством в его честь. Вероятно, одна из этих барышень, конфузясь, кусая губы и краснея чуть не до слез, возложит на него лавровый венок.

Густав молил Бога об одном, чтобы при этом не было бы читано стихов. С венком он еще мирился, но стихи, выслушивать которые уже не однажды заставляли его в подобных случаях, были невыносимы.

И действительно, и на этот раз было приготовлено такое торжество. Возложение венка обыкновенно поручалось самой хорошенькой, по всеобщему мнению, девушке, но до сих пор Густаву не приходилось разделять это мнение. Однако теперь с лавровым венком подошла та, которая была на самом деле лучше всех: у Нарышкина венчание героя было поручено молодой Олуньевой.

Она подошла и исполнила свою трудную задачу — трудную потому, что на нее смотрели и шептались, — так просто, естественно и смело, словно ей это решительно ничего не стоило. И Густав чувствовал, как сильнее забилося его сердце, когда Наташа подошла к нему. Казалось, он смутился гораздо более, чем она.

И с первой же встречи, с самого этого бала у Нарышкина, он заметно стал искать дальнейших встреч с Наташей.

IV. БАРОНЕССА ШЕНБЕРГ

Начавшийся такими торжествами и таким весельем 1740 год скоро оказался, однако, совсем иным, чем можно было ожидать по его началу. Словно для поддержания равновесия относительно этих торжеств и веселья явилось совершенно новое настроение. Вдруг наступило затишье, двор приуныл, и все, что было влиятельного в Петербурге, забеспокоилось, зашептало и преисполнилось смятением. До сих пор скрытая, но, впрочем, многим известная вражда герцога с кабинет-министром Волынским перешла в открытую борьбу, и все притаили дыхание в ожидании, чем кончится эта борьба.

Однако ждать долго не пришлось. К Святой выяснилось, что падение смелого Волынского неминуемо. Вскоре после Святой недели, 12 апреля, он был арестован, и была назначена комиссия для расследования его преступлений.

Настасья Петровна своим долгим опытом знала, как следовало поступать при таких обстоятельствах: сколько раз на ее глазах положение обострялось, сильные люди вдруг теряли все и падали, и она всегда прибегала в этих сомнительных случаях к одному и тому же, но зато неизменно верному средству: она, как канцлер Остерман, заболела и отпрашивалась в деревню, появляясь снова на виду лишь тогда, когда буря вполне успокаивалась. И теперь Олуньева задолго почуяла беду и поспешила принять свои меры: раннею весною она с Наташей

перебралась в деревню.

Очутившись снова в лесу и в поле, Наташа забыла угар прошедшей зимы, проведенной ею в постоянных выездах, потому что приглашений у Олуньевой было всегда очень много благодаря успеху Наташи и ее модным, дорогим платьям.

Воспоминания об этой зиме слились у нее как-то в одно неразрывное целое чего-то беспокойного, шумного, живого, движущегося и пестрого. И блестящий брат герцога, которому она надевала венки и который потом в числе других мужчин, и молодых, и старых, старался вертеться возле нее, вовсе не занимал видного места в этом воспоминании. Не то чтобы Наташа не заметила его, но он как-то слился у нее со всем остальным и был не более как подробностью, и подробностью далеко не важной.

Впрочем, важным ей ничего не показалось во время ее выездов.

Когда прошли летние месяцы и тетка сказала ей, что пора возвращаться в Петербург, Наташа даже искренне пожалела деревню. Словно по какому-то предчувствию, ей не хотелось ехать снова в тот далекий холодный город, где без них произошли уже страшные события.

Весть о казни Волынского Настасья Петровна получила одна из первых, и Наташу крайне поразила казнь человека, которого она видела во время празднеств в ледяном доме и потом на балах — изящным, красивым и гордым. Неужели этот Волынский погиб на плахе и голова его скатилась под топором палача? Да не одна голова: Наташе рассказывали, что ему сначала отрубили Руку, а потом — голову. И Хрущов с ним, и Еропкин.

Хрущова она тоже помнила, а Еропкина, как ни старалась, не могла припомнить, хотя, вероятно, встречалась и с ним.

За что их казнили, что они сделали — Наташа не могла разобрать хорошенько. Неужели они были в самом деле такие дурные люди? Ей, может быть, легче было бы, если б она узнала, что они были дурные. Она спрашивала у тетки, но та ничего не объяснила и лишь строго-настрого запретила ей не только говорить, но и думать о Волынском, в особенности по приезду в Петербург.

— Говорить там станешь о нем — и тебе язык вырежут, — сказала она, — а думать — так мозги выбьют.

Конечно, это была шутка со стороны Настасьи Петровны, но эта шутка серьезно испугала Наташу. Неужели и ей могут вырезать язык? Отчего же нет, если тем отрубили головы? А ведь это, должно быть, очень больно, когда язык режут! Но кто же посмеет с нею сделать это? Сильный человек, чужестранец Бирон... И она инстинктивно чувствовала к этому человеку холодный ужас, и чем больше думала о нем, тем страшнее казался он ей.

— А не остаться ли нам в деревне? — спрашивала она тетку, когда подходило время их отъезда в столицу.

— Бирона испугалась? — отвечала тетка своим густым, басистым голосом и начинала смеяться.

Опять этот Бирон! Он не давал покоя Наташе.

Старуха Олуньева стала собираться в Петербург, как только улеглась, по ее расчетам, поднявшаяся там буря. Она, посмеиваясь над Наташей и продолжая пугать ее Бироном, велела укладываться, -высылать подставы и назначила день отъезда из деревни.

В начале августа они были снова в Петербурге. Волынского казнили около